



И. А. Г О Н Ч А Р О В

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ



ИБ № 1332

Иван Александрович ГОНЧАРОВ

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Роман в двух частях

Редакторы И. С. Яворская, И. А. Богданова. Художественный редактор В. А. Семенов. Технический редактор Л. И. Киселева. Корректоры А. С. Качинская, Т. Г. Павлова.

Сдано в набор 23.12.80. Подписано в печать 21.05.81. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 18. Уч.-изд. л. 20,37. Тираж 110 000 экз. Заказ № 38. Цена 1 р. 80 к.

Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова. 199164, Ленинград. Университетская наб., 79.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Роман в двух частях

Часть первая	3
Часть вторая	120
Примечания	254

Приложения

Из статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года»	256
Из писем В. Г. Белинского В. П. Боткину	273
Из письма В. П. Боткина В. Г. Белинскому	274
Отрадин М. В. Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история»	275

И. А. ГОНЧАРОВ

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ
Роман в двух частях



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕНИНГРАД 1981

Текст романа И. А. Гончарова и примечания Е. Краснощековой печатаются по изданию: Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 1. М., «Худож. литература», 1977.

Тексты статьи и писем В. Г. Белинского печатаются по изданию: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 10, 12. М., Изд-во АН СССР, 1956.

Текст письма В. П. Боткина печатается по изданию: Литературная мысль (альманах), II. Пг., 1923.

Послесловие канд. филол. наук М. В. Отрадина

Оформление художника Л. Г. Епифанова

Г $\frac{70301-107}{076(02)-81}$ 137—81. 4702010100

© Составление,
послесловие,
оформление.
Издательство
Ленинградского
университета,
1981 г.

• ЧАСТЬ ПЕРВАЯ •



I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялось с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Бар-

бос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка третила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что всего важнее для Евсея — первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, сутелась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаружился во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну, что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты, — ты, никак, с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает! Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! — прошипела по-зменному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место! — промолвил он, все со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то бог! лишь бы не Прощка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прощка, так что ж за беда? — со злостью заметила она:

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прощкой, ей-богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прощка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она, плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прощкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

— Пользь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности, малый смирный, работающий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульную. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? — сказала она, — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй,

и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь, как корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воротясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этих коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

— Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

Она в три приема выпула все из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марья Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка — дай бог ей здоровья, — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», — видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь! Э, мой друг! Бог знает чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужды — все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Желал бы, послал бы бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

— А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

— Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха, только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи... Останься!

Он молчал.

— Да ты не слушаешь, — сказала она. — Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

— Так вот что! — проговорила она наконец уныло. — Ну, мой друг, бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась: мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: все это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании боль-

шой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстиралось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; все будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладыванием белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

— Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, — говорила она. — В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

— Так, маменька.

— Все с твоими метками, видишь — А. А. А все голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре — так, вся дюжина тут. Вот рубашки — три дюжины. Что за полотно — загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Василию Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Пове-

рый же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этакие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положи: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

— Чего изволите?— спросил он еще ленивее.

— Чего изволите?— заговорила Адуева гневно.— Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной — экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села — такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты — раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

— Ну, Саша,— сказала она, помолчав немного,— ты теперь едешь на чужую сторону...

— Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

— Погоди, погоди — выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего и худого. Надеюсь, он, отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знатъ войдешь — ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор,— все-таки смирайся перед господом богом: молись и в счастья и в несчастья, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь — и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же на-

смеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; бог подаст! Будешь ли ты посещать храм божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю,— продолжала она, ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердный отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту— тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

— Маменька...— сказал он.

— Ну, сядь, сядь!— отвечала она, наскоро утирая слезы,— мне еще много осталось поговорить... Что бишь я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюди посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу— бог простит; а в великий пост— боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя— все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговарят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуще всего здоровье,— продолжала она.— Как заболеешь— чего боже оборони!— опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Нороят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мо-

тай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться — не скупись. Не предавайся вину — ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакое-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракал? — сказал он почти с досадой.

— Сейчас, сейчас... еще одно слово...

— На мужних жен не зарься, — спешила она досказать, — это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — боже сохрани! не мочи и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богато, го вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь — ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбыть: старую девку или дрянь. Этакое женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка — так того... — тут она еще тише заговорила... — Союшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.) Что, в самом деле, Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

— Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! — сказал Александр.

— Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну, а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вот до чего договорились, — перервал он, — велите скорей подавать, что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо, — что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этаким грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься — молодая жена заменит тебе и мать, и все... Нет! Пусть благословит тебя бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

— Да что это не едет никто? — сказала она, — ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня

кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иванович... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Ивановича? Это Вечный Жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переставал никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложенных и перезаложенных, живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар,— ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности, Антона Ивановича никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званных обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце,— вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем,— ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает,— уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят,— передать туда-то калочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать,— напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Ивановича употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать,— говорят,— того и гляди, переверт. Нет, уж пусть лучше Антон Иванович съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Ивановича отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

— А где же Антон Иванович?— спросил бы всякий непременно с изумлением.— Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и от-